

Содержит
цензурную
лексику!
18+

**плюс
минус
30**

Леонид **Якубович**

**+ рассказы,
пьесы
и стихи**

невероятные
и правдивые
истории из моей жизни

За кадром. Истории легенд телевидения

Леонид Якубович

**Плюс минус 30: невероятные и
правдивые истории из моей жизни**

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.161.1-94+070
ББК 85.38(2)-8

Якубович Л. А.

Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни /
Л. А. Якубович — «Эксмо», 2021 — (За кадром. Истории легенд
телевидения)

ISBN 978-5-04-115922-1

Представьте, что вы поменялись телами с другим человеком — и не просто незнакомым прохожим, а с самим Леонидом Якубовичем! А теперь попробуйте выполнить невыполнимую миссию: остаться незамеченным. Куда бы вы ни пошли, толпа зевак будет радостно набрасываться на вас с криками «Это ж Аркадьич!», пытаться покрутить усы на счастье, поцеловать, сфотографироваться и затащить в гости, ведь «наша мама — ваша фанатка». Быть Леонидом Якубовичем в нашей стране — непростое дело, ведь такая народная любовь и популярность не всегда могут сыграть вам на руку. Впрочем, еще до участия в капитал-шоу «Поле Чудес» жизнь ее бессменного ведущего была полна невероятных шуток и нелепых стечений обстоятельств. Первый полет на вертолете и назойливые журналисты, поездки в Чечню, дружеские розыгрыши с Геннадием Хазановым, все удачные и совсем не удачные попытки найти свой путь. Обо всем этом он рассказывает в своей новой книге: предельно честной и смешной до слез. Содержит нецензурную брань! В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-94+070
ББК 85.38(2)-8

ISBN 978-5-04-115922-1

© Якубович Л. А., 2021

© Эксмо, 2021

Содержание

Предисловие	6
Истории из моей жизни	8
Автобиография	8
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Леонид Якубович

Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни

Предисловие

Самое печальное, что любое сказанное слово, любая написанная буква, любой шаг, любая секунда уже прошлое!

Мы все из прошлого. Мы там родились. Там гуляли с мамой за ручку. Там ездили на папиных плечах на Первомайской демонстрации. Там эскимо на палочке за одиннадцать копеек и пятак на метро! Там первый поцелуй и первая драка в подворотне. Там первый глоток вина и первая сигарета! Там аттестат зрелости и там диплом! Все там!

Это нельзя изменить или остановить! Это «там» неизменно и поглощает «сейчас», как черная дыра, иногда навсегда, иногда выплескивая в «сейчас» часть каких-то обрывочных всплохов в виде воспоминаний! Иногда это тревожит, иногда радует, иногда вызывает грусть или, наоборот, заставляет ухватиться в этом «там» и тянуть в «сейчас» что-то очень важное, очень дорогое, без чего совсем худо. Как будто это возможно!

Знаем, знаем же, что это бессмысленно, и все равно иной раз просыпаемся ночью, разбуженные каким-то мгновением из этого «там», и так хочется продлить его, или изменить, или вообще вычеркнуть, чтобы его в этот «там» не было вовсе!

И что особенно грустно, что в этом «там» как-то все перемешано, перепутано, и совершенно невозможно всё это систематизировать, как-то выстроить в ряд, одно мгновение за другим, одно за другим! Что-то крупное – да, а вот мелочи, те самые дорогие мелочи... никак.

И почему-то, когда особенно плохо, мы окунаемся в прошлое, как будто «там» есть ответ и надежда.

И лица. Лица расплываются и тают. Лица родных и близких людей. То есть они тут, с тобой, как будто никогда и не уходили, но вот черты... Улыбка... морщинки у глаз... родинка... Ускользают, теряются... Как ни цепляйся...

В сущности, моя жизнь похожа на фильм. На очень хороший фильм. Снятый каким-то гениальным режиссером. Который снял его почти целиком. Но не смонтировал. Не знаю почему. Может, спился. Может, влюбился. А может, ему просто надоело. И эти обрывки замечательного фильма валяются теперь на монтажном столе, и уже не разобрать, в каком порядке, когда и где они были сняты. Можно часами перебирать эти кадры, выхватывая из памяти лица, события, даты, но так и не создать цельную картину. Но, судя по ним, жизнь промелькнула в один миг, и эти кадрики как верстовые столбы за окошком скорого поезда, который мчится все быстрее и быстрее, не давая остановиться, оглянуться назад. Постоять и подумать, что это было там, позади. Год назад. Десять лет. Сорок. Или час. Память выборочна, как эти кадры. В сущности, мы помним только хорошее. Но и оно расплывается со временем. То есть сам факт того, что было, – вот он, перед тобой. Но подробности, все эти милые сердцу мелочи... Слова, нет, даже междометия, эти взгляды, это так необходимое иногда просто молчание. Вот он, на этом кадре, стоит, смеется, машет рукой. А его уже лет пятнадцать как нет на свете. И дома этого нет. И сквера! Как нет? Вот же он! И дом вот! И вывеска эта на доме. И даже эти бабки на лавочке у подъезда. Я все очень хорошо помню! А этого нет. Только этот неизвестно откуда взявшийся кадрик из прошлого.

На этих обрывочных кадрах ничего нет. Кроме всплохов сознания, которое пытается выудить из памяти что-то очень важное, очень нужное. И не может.

Только застывшие мгновения куда-то умчавшейся жизни.

В этой книге как раз и собраны эти кадры. Собраны без всякой хронологии и смысла. Просто я сгреб их с монтажного стола и уложил между двумя обложками.

Если кому-то из вас они покажутся интересными или даже просто забавными, или, может быть, кто-то уловит в них какую-то закономерность, я буду рад, если потом вы сможете объяснить мне, что же это все-таки было – моя жизнь.

Или бросьте это дело, и пусть они так и валяются грудой, пока какой-нибудь очередной гений не удосужится все-таки смонтировать их и предъявить на ваш суд.

Леонид Якубович, сентябрь, 2020

Истории из моей жизни

Автобиография

Я родился в два часа в ночь с 30 июня на 1 июля. То есть, как истинный мужчина, я в доме появился ночью.

Я был единственным ребенком, хотя мать хотела иметь по крайней мере четверых. Но маленьким я так орал, что она решила, что лучше иметь одного, чем четверых с глухой мамашей.

Как ни странно, я не разговаривал до двух лет. Родители страшно волновались по этому поводу и понесли меня на консультацию к профессору Домбровской, великому педиатру, которая когда-то преподавала моей матери педиатрию, когда та училась в медицинском. Это была крупная седая женщина с громоподобным голосом, очень похожая на Фаину Георгиевну Раневскую. Жила она в большой, типично московской квартире одна, если не считать домработницы и кота.

– Совершенно нормальный ребенок, – сказала она после осмотра.

– Ради бога, извините, что мы вас побеспокоили, профессор, – произнесла мать, – но он же ничего не говорит!

– Значит, ему не о чем с вами разговаривать! – мудро заявила Домбровская.

Второй раз меня принесли к ней в четыре года. Я упал с дивана. Бабушка моя, Полина Савельевна, жила в коммунальной квартире на Нижней улице, в доме работников МПС. Окна ее комнаты выходили прямо на Белорусский вокзал. Как она там жила, понятия не имею. И днем и ночью слышны были гудки паровозов и станционные объявления. Прямо около окна стоял диван. И я вечно прыгал со спинки этого дивана на подоконник и как заведенный орал не переставая: «Поезд апавляется в пять в минут!» и еще «Сталино-Фили! Без астановков!». Ну, и однажды я допрыгался и со всего размаха ляпнулся лбом о мраморный подоконник. И у меня, как вспоминала моя мать, выросла такая шишка, что ее можно было запросто принять за вторую голову. Перепуганные родители тут же помчались со мной по врачам, которые все как один сказали: «Резать!» Отец сказал, что, пока не скажет Домбровская, ни на какие операции он согласия не даст. И меня опять понесли к ней.

Юлия Фоминична меня осмотрела, сказала, что ничего резать не надо, что это все само рассосется. И что, вероятно, я просто такой умный, что мозг в одной голове не умещается, поэтому выросла вторая.

Уходя, отец незаметно положил на мраморную полку камина конверт с деньгами.

Они успели спуститься до первого этажа, но выйти на улицу из подъезда не успели, как их догнала перепуганная домработница.

– Римма Семеновна! Римма Семеновна! – задыхаясь, пролепетала она. – Идите скорее, профессор просит вас вернуться!

Отец с матерью ринулись наверх, полагая, что случилось что-то ужасное. Они не ошиблись. Случилось действительно ужасное.

В дверях квартиры стояла огромная седая женщина с багровым лицом и растрепанными волосами.

– Как ты посмела! – гневно пророкотала она на весь подъезд, глядя на мою мать сверкающими от гнева глазами. – Как ты посмела! Врач врачу оставил деньги!!! Я тебя этому учила?! Вон отсюда! Чтоб я тебя больше не видела!

Она швырнула на пол конверт и захлопнула дверь.

Из соседних квартир выглядывали испуганные соседи.

Больше мы у Домбровской не были никогда. Несколько месяцев отец приносил цветы – она их выкидывала. Мать звонила – она бросала трубку. Она умерла, так и не приняв никаких извинений. Это было несовместимо с ее понятиями о совести и чести.

И всю жизнь потом, когда при матери произносили фамилию Домбровской, она краснела, поджимала губы и уходила в другую комнату.

Отец перед войной закончил МВТУ имени Баумана по специальности «Паровозостроение». Он успел поработать в Коломне в депо, успел жениться и в июле сорок первого ушел на фронт в ранге младшего лейтенанта. Поскольку он в глаза никогда не видел ни одной пушки, его тут же приписали к артдивизиону. Дивизия формировалась под Можайском, и пока они ехали в эшелоне к месту назначения, солдаты на открытой платформе объясняли ему, как обращаться с оружием. Куда при случае нужно смотреть, за что дергать и куда, главное, суют снаряд перед выстрелом.

Отец о войне не рассказывал практически никогда. Мрачнел, сопел, потом молча наливал себе рюмку водки, выпивал залпом и переводил разговор на что-нибудь другое. От всей его войны осталась только маленькая черно-белая фотография, где ему вручает орден Красной Звезды маршал Буденный.

Была еще отцовская шинель и португеза с кобурой. Шинель была обычная, но вот ремень от португези был прямо-таки невероятный. В нем было три рваные отметины, две с одной стороны и одна с другой.

В сорок втором, во время боя где-то подо Ржевом, легла цепь. И никак. Ни вперед, ни назад. Тогда командир дивизии полковник Терентьев встал в полный рост, вышел перед цепью и зашагал вперед. Офицеры, естественно, бросились его закрывать.

Вот как шла пулеметная очередь, так и пробила в отцовском ремне три отметины, справа и слева.

Куда потом подевалась эта шинель с португезей, представить себе не могу. Вещи вообще имеют обыкновение приходить и уходить, когда им вздумается.

Между прочим, если бы не этот орден Красной Звезды, меня вообще бы могло не быть на этом свете, о чем через много лет, когда отца уже не было, поведала мне мать.

Орден отцу вручали в Москве. Получил он четверо суток «туда и обратно» и на перекладных двинулся в столицу. На каком-то богом забытом полустанке эшелон стоял минут пять, ну, может, десять. Он вообще не должен был там останавливаться, но пропускали литерный и его притормозили. Отец курил у теплушки и вдруг обратил внимание на оборванного доходягу, который цыганил еду у солдат. Доходяге было лет тридцать, был он чудовищно худ, нечесан, грязный и весь в каких-то прыщах. Почему он обратил на него внимание, таких были тысячи, почему эшелон остановился именно тут, а не на следующем полустанке, черт его знает. Ну, совпало так. И отец накормил этого парня, и уговорил коменданта, и тот разрешил отцу взять этого доходягу с собой. И отец мало того что довез его до Москвы, так он еще, на свою голову, приволок его к себе домой, заставил жену переодеть этого оборвыша в свое же довоенное, гражданское. И сводить в милицию и к врачу. Короче говоря, отец получил орден, уехал обратно на фронт, а этот остался у них жить.

А куда ж его, в самом деле, не на улицу же. Как известно, каждый добрый поступок наказуем. Через два месяца отец получил от жены письмо, в котором она просила его дать ей развод, поскольку они тут полюбили друг друга прямо-таки неземной любовью и жить друг без друга теперь не могут. А отец, значит, это была ошибка молодости, и пусть он ее простит, и защищает нашу любимую Родину от фашистских захватчиков, а она тут уж как-нибудь без него.

Папаня напился, поскрипел зубами, дал развод и стал воевать дальше уже холостым.

В канун сорок четвертого года на фронт привезли традиционные подарки труженников тыла воинам Красной армии. Там кроме собственно посылочки была открытка, начинавшаяся

яся с «Дорогой товарищ боец Красной армии, поздравляю тебя с наступающим Новым, 1944 годом...».

Отцу тоже досталось такое послание, подписанное: «Римма С.».

В посылке были: пачка махорки, печенье, шоколадка «Три богатыря» и почему-то зеленые детские варежки на одну руку. Отец решил, что это какая-то ученица, видимо, седьмого или восьмого класса, и в шутку написал в ответ: «Дорогая Римма С...»

Дорогая Римма С. меж тем была совсем не школьницей восьмого класса, а дипломированным врачом, работала в клинике и ездила в санитарном поезде с бригадой под руководством самого Бурденко!

Она тут же отписала отцу свои извинения, пообещала прислать взамен что-нибудь другое, и что она вообще никогда не вязала, и что ее недавно научила санитарка, и что вообще это ее первый опыт в этом деле. Отец вежливо ответил, что, мол, спасибо, не стоит волноваться, ну и так далее. К двадцать третьему февраля он получил вторую посылку, в которой были шерстяные носки. Нормальные толстые вязаные шерстяные носки. Один примерно сорок третьего размера, а второй – тридцать девятого.

Отец понял, что это судьба.

В сорок четвертом отца после контузии откомандировали в Москву, в штаб БТМВ, они познакомились, в результате чего на свет появился я. То есть если бы не эти носки с варежками, я бы, наверное, родился совсем в другом месте у других родителей. И был бы, к примеру, не мальчиком Леней, а девочкой Леной.

Отец служил до пятидесяти третьего года. Великий вождь и учитель, как известно, спал мало, поэтому все работали, как и он, по ночам.

Штаб находился на Красной площади прямо напротив Спасских ворот. Мне уже было года четыре, и я очень хорошо помню, как мы с матерью ходили ночью пешком от Земляного вала к нему на работу с кастрюлькой манной каши. У отца была раневая язва, и он ничего, кроме каши, не ел. Кастрюльку принимал у матери дежурный с повязкой и относил отцу. Потом мы шли обратно. Отец приходил домой после дежурства часов в пять утра. Когда дежурств не было, он работал с восьми утра до одиннадцати вечера. Тогда утром он отвозил меня в детский сад. Мы ехали на трамвае до «Балчуга», потом шли пешком до Софийской церкви на набережной Москвы-реки и прямо напротив Кремля уходили в подворотню, где находился детский сад Министерства обороны.

Однажды, когда мы уже вышли на остановке, трамвай тронулся с места и резко звеняще взвизгнул на повороте. Отец мгновенно схватил меня в охапку и упал ничком на асфальт, поднимая меня под себя. Мышечная память. Ему показалось, что это минометный обстрел.

В этот день мы в сад не попали. Мы полдня отмачивали мои ссадины на лице.

До пятидесяти первого года мы с отцом регулярно девятого мая ходили к Большому театру на встречу однополчан.

Сначала я сидел у него на шее, потом уже шел рядом. Одной рукой он держал меня, чтобы я не потерялся в толпе, а другой – табличку с надписью «108-я стрелковая Бобруйская ордена Ленина дивизия». Мы приходили к восьми утра и уходили в час, в два. И ни разу не встретили никого. Отец переживал очень. Он ничего не говорил, но было видно, что ему горько. Мать ничего не спрашивала, они так хорошо знали друг друга, что она по одному только взгляду все понимала. Мы садились за стол. Отец выпивал рюмку, съедал кусочек селедки, потом выпивал вторую, все молча, вставал и уходил на черный ход. Стоял там и курил одну за другой.

И вот однажды, как сейчас помню, в субботу мы ехали к бабушке, то есть, значит, к папиной маме, на Нижнюю улицу. Доехали на метро до «Белорусской» и только встали на эскалатор, как с противоположной стороны кто-то громогласно крикнул: «Аркадий!» Отец вздрогнул, обернулся и дальше, я даже охнуть не успел, понесся вниз, расталкивая всех и бесконечно

повторяя на бегу: «Извините!.. Прошу прощения!.. Ради бога!..» А с той стороны ровно с теми же словами скакал вниз по ступенькам здоровенный дядька в военной форме.

Я, не очень понимая, что, собственно, произошло, доехал до верха, перешел на другую сторону и поехал обратно вниз.

Все, кто стоял на эскалаторах, смотрели в одну сторону. Те, кто ехал вверх, стояли уже спиной к движению, а те, кто ехал вниз, поднимались на цыпочки, перегибались через поручни, подпрыгивали, чтобы лучше видеть. Свистела дежурная, бурлила толпа, возник неведь откуда взявшийся милиционер, и все улыбались. Все! Я очень хорошо помню, улыбались все. Остановили эскалатор. Люди все подходили и подходили.

А посреди всего этого стояли, стиснув друг друга, отец и этот дядька.

Выяснилось, что встречаются однополчане не девятого мая, а восьмого, и не в скверике у Большого театра, а в Александровском саду у Итальянского грота.

И на следующий год мы туда и пошли.

Никогда ни до, ни после не видел ничего подобного. Не забуду никогда.

Никогда не забуду и похороны вождя народов.

Шестого марта.

Сначала долго не начинались уроки. Мы сидели и ждали, но никто не приходил. Потом открылась дверь и вошла Елизавета Андреевна, наша классная. Маленькая, сухонькая, с забранным назад пучком седых волос. Боялись ее в школе ужасно.

Вошла, молча встала у окна и застыла там. Минут десять стояла так и молчала, только плечи у нее мелко тряслись.

Потом повернулась к нам, оглядела класс совершенно сухими, ничего не видящими глазами и сказала хрипло: «Можете идти домой. Уроков не будет...»

И опять отвернулась к окну.

Мы ринулись на улицу. Уже, как обычно, перебегая улицу Чкалова, мы вдруг остановились посередине, не понимая, что происходит.

Мало того что никто не свистнул, никто не заорал «Стой, куда под машины?!», происходило вообще что-то совершенно необычное.

Стояло все!

Машины, троллейбусы, трамваи, люди на улице. И гудели паровозные гудки на Курском вокзале. Гудели долго, наверное, минут десять.

А потом стало тихо. Совсем тихо. Совсем-совсем тихо.

Люди шли и плакали. Кто вытирал лицо рукавом, кто – закрыв рот ладонью, кто просто шел и плакал на ходу, даже не утирая слез.

Дома тоже все было как-то не так. Как-то непривычно тихо и как-то настороженно, что ли... И во всех комнатах на полную были включены радиоприемники, по которым непрерывно передавали траурные речи и музыку.

Отца не было. Его срочно вызвали.

Он вернулся только на следующий день поздно вечером. Весь измятый, без фуражки, с половиной пуговиц на шинели и с одним оторванным наполовину погоном. Пришел, ничего не сказал, с ходу налил себе стакан водки, выпил залпом, сквозь зубы выругался, выпил еще... Похлопал маму по щеке, сказал: «Ничего, ничего...» – и ушел на черный ход, прихватив бутылку.

Сидел там и курил почти до утра.

Я ничего не понял.

Мать проработала гинекологом больше сорока лет. Она была очень хорошим врачом. Своих пациенток она называла «мои бабы», и «бабы» ее просто обожали.

Она окончила Первый мед в сорок первом, как раз перед войной, и даже пару раз ездила на фронт в санитарном поезде с самим Бурденко, о котором всегда вспоминала с легким тре-

петом. По ее словам, это был совершенно гениальный хирург, с рук которого надо было делать золотые слепки! Но характера был непростого. В операционной мог наорать, швырнуть инструмент. Единственной, кто в такие моменты мог его одернуть, была его старшая операционная сестра, с которой он проработал долгие годы. Как только что-нибудь случалось, раздавался ее голос: «Тихо в операционной», и он тут же успокаивался. Меж тем руки его продолжали работать безостановочно, четко и уверенно делая свое дело.

Потом она работала в судмедэкспертизе, и уже потом, после аспирантуры, много лет гинекологом.

Каждый раз, когда ее спрашивали о работе, она гордо отвечала: «Я работаю в органах!», и, что характерно, ее тут же пропускали без очереди везде и всюду.

Собственно, мы все жили у ее родителей, моих бабушки и деда.

Квартира была коммунальная, и жили там восемнадцать соседей.

И квартира была прямо-таки историческая, и дом наш тоже был, безо всякого преувеличения, исторический.

Дом построил в начале XX века некий миллионщик Шмаков. На Москве он объявился в первой половине XIX столетия безусым пацаном, точно так, как Михайло Ломоносов.

Пришел пешком издалека, бос и гол, с одной котомкой за спиной. Мыкался, мыкался, да и пристроился в артель к золотарям. Кому интересно, могу пояснить, что золотарь – это по поводу дерьма, сиречь ассенизаторы. Профессия, что и говорить, не самая приятная, однако куда денешься. Парень он, видимо, был работающий и через какое-то время даже стал «нижним». То есть, значит, стал работать внизу, в выгребной яме. И не надо морщиться, ибо по тем временам дело это было немало выгодное, потому как в этой самой яме можно было найти, вы не поверите, и золотое кольцо, и дорогой портсигар, и много чего еще стоящего. Даже с учетом артельного «котла» все равно оставалось немало. Потом вырос до артельщика и через какое-то время забрал под себя едва ли не все золотарское дело на Москве. Разбогател и построил доходный дом, одна часть которого была гостиницей, а другая, с квартирами, сдавалась внаем обеспеченным господам.

Так вот, квартира, в которой мы жили, была его личными апартаментами, а мы ввосемьмером – мама, папа, я, тетя, дядя, моя сестра и дед с бабушкой – жили в его личном сорокаметровом кабинете, разделенном на три части.

Дед с бабушкой въехали туда в восемнадцатом году, когда Шмаковых потеснили. К тому времени самого Шмакова уже в живых не было, а в одной из комнат жил его сын с красавицей женой. Сыновей у Шмакова было два. Один был архитектор, а второй – что-то там по коммерции. Про того, который архитектор, неизвестно ничего, он успел сбежать в семнадцатом году, а вот тот, что еще жил в этой квартире...

По рассказам бабушки, жена его было насколько красива, настолько же и капризна до умопомрачения, с утра до вечера она закатывала скандалы по любому поводу и бесконечно визгливо требовала: «Давай уедем от этого быдла! Давай уедем!»

Вы можете не поверить, но, по свидетельству очевидцев, когда она выводила его из себя окончательно, он выволакивал ее на кухню и, задрав подол, порол ремнем чуть не до крови. И на всю квартиру она орала благим матом: «Люди добрые, помогите! Умираю, умираю, умерла!»

Но совсем уже невтерпеж стало после того, как в квартиру с обыском пришел патруль. Солдат, матрос и чекист в кожанке.

Чекист с матросом, распределившись по комнатам, стали проверять документы, а солдатик с трехлинейкой ввалился как раз к ней. Самого Шмакова-младшего дома не было, так что мадам была одна.

Встретила она солдатика в прозрачном насквозь пеньюаре, под которым абсолютно ничего не было. Солдатик, стараясь не глядеть на хозяйку, спросил документы. Она, призывно

улыбаясь, подала. Он взял, уронил. Поднял, опять уронил. Проверил, глядя в потолок, вернул и, заикаясь, спросил, показывая на стоящую на столе большую шкатулку: «А тут у вас что?»

«А тут... – сказала она, поднимая пенюар до груди, – тут мои любовные письма!»

Солдатик выронил винтовку и, багровея, вымелся из комнаты.

Меж тем в шкатулке были все их драгоценности.

Через неделю они уехали, говорили, куда-то в Аргентину.

А еще через день после того, как они уехали, в квартире раздался звонок.

Бабушка открыла.

В дверях стоял солидный господин в шубе, подбитой мехом, с бобровым воротником, и с большим саквояжем в руках.

Господин спросил Шмакова.

Бабушка сказала, что их нет.

– А когда они будут? – спросил господин.

– Теперь уж и не знаю! – ответила бабушка.

– Позвольте, как это «теперь»? Что значит «теперь»? – заволновался бобровый воротник.

– Уехали они! – терпеливо объяснила бабушка.

– Куда уехали?! – господин бледнел на глазах.

– Совсем, совсем они уехали! За границу! А куда, я не знаю!

Господин схватился за сердце, сказал: «Ах!» – и без сознания рухнул на пол.

Выяснилось, что Шмаков «продал» ему здание бывшего генерал-губернатора, где теперь правительство Москвы. Продал с большой скидкой, о чем и выдал соответственно заверенный «документ» с «печатами» и «подписями». И господин этот, собственно, пришел с распиской за деньгами.

Жили в квартире, повторяю, восемнадцать человек. Болдыревы с сыном – в дальней комнате. Рядом маленькая сухонькая Мария Моисеевна Ботвинник, профессор то ли органической, то ли неорганической химии МГУ, которую я с детства называл Масюська. Она была из старой школы, невероятно обаятельная и добрая. Студенты ее, видимо, любили. О чем можно судить по одному случаю, который она мне рассказала.

К ней на экзамен пришел студент. Достал билет, стал отвечать. На два вопроса кое-как ответил, а на третий нет. Она его и оправила до другого раза. Он, естественно, стал ныть, выпрашивая троечку.

– Послушайте! – сказала она ему. – Вот вы сели в трамвай. Билет стоит три копейки. А у вас – две! Повезет вас кондуктор или не повезет?

– Если не сволочь, то повезет! – не моргнув глазом ответил он.

И она поставила ему три.

Еще жила Ольга Михайловна со взрослой дочерью, и рядом с нами еще одна старушка, о которой я знал только, что ее зовут Ганька. Кто она, было загадкой, но бабушка с ней не разговаривала вовсе никогда и никогда даже не здоровалась. Не знаю почему.

Бабушка Анна Львовна Черняк была женщиной, мягко говоря, дородной. Голос имела громобойный и характер, который мог выдержать только дед. Она была еще тот Черняк!

– Аня! – говорил дед. – Давай съездим за город?

– Не говори ерунду! – отвечала она – Какой загород?! По радио обещали заморозки на почве!

– Ну так мы не будем ложиться на почву! – флегматично отвечал дед.

– Будешь со мной так разговаривать, не получишь подарок ко дню рождения!

– Аня, я живу с тобой столько лет и столько же раз удивлялся, что у меня вообще был день рождения!

– Все! Хотела купить тебе ремешок для часов, теперь пойду и на эти деньги куплю себе набрюшник!

– Купи себе лучше намордник!

Дальше начиналось битье посуды, валокордин и прочие радости.

У бабушки было три подруги. По странному стечению обстоятельств, две, тетя Наташа и тетя Эсфирь, и до войны, и во время, и после служили в военной контрразведке, а тетя Рика в разведке.

Ни та, ни другая, ни третья никогда ничего не рассказывали о работе. Я потом, уже через много лет, когда хоронили бабушку, увидел, как двое военных под руки привели тетю Наташу. Сама она уже ходила с трудом, но кофта, кофта ее потрясла меня совершенно. Кофта сползала спереди так, что ворот был где-то на уровне груди, от количества боевых наград.

Потом, уже на поминках, за столом, я от нее узнал, что бабушка моя во время войны вывозила детей из школ и детских домов Сталинграда. Вывозила на маленьком пароходике через Волгу в тыл.

И была у нее медаль «За боевые заслуги», которую вручали в штабе Чуйкова.

Я ничего об этом не знал.

В самом начале 1946 года тетя Рика была у нас в гостях. Они с бабушкой протрепались за чаем допоздна, и, когда надо было уходить, бабушка взялась провожать подругу до трамвая, который тогда ходил по улице Чкалова, и остановка была как раз напротив нашего подъезда. Бандитизм в Москве в ту пору был страшный, пока по приказу Берии не были пущены пешие и конные патрули с приказом стрелять без предупреждения.

Ну вот. Тетя Рика надела шинель, а бабушка накинула на плечи старую шубу, у которой весь вечер отпарывала подкладку, чтобы перелицевать. Поэтому накинула она ее ватином вверх. И в таком виде они пошли до остановки.

Меж тем в подъезде курили двое, на которых они не обратили никакого внимания.

Бабушка посадила Рiku на трамвай, а когда возвращалась...

Один стоял на площадке второго этажа, а другой – в пролете между вторым и третьим. И когда она прошла второго, он схватил ее, приставил нож к горлу и рявкнул: «Скидай шубу, стерва!»

Они, видимо, в полутемном подъезде приняли ватин за мех. Ну, ошиблись люди, бывает.

Бабушка моя, ни слова не говоря, потеряла сознание и навзничь рухнула на этого, с ножом. И оба они с маху опрокинулись на стоящего внизу второго. То есть, значит, бабушкины сто десять плюс этого килограммов восемьдесят.

В результате, как потом установили, у одного сломана рука и два ребра, а у другого тяжелая черепно-мозговая травма.

Единственно, кто не пострадал совершенно, была Анна Львовна, которая выползла из подъезда на улицу и вызвала милицию.

Много лет потом у нас хранилась грамота «За задержание особо опасных преступников», подписанная зам. министра НКВД Кругловым.

Дед мой, Семен Цезаревич Шенкер, был тот самый тип людей, с которых Бабель писал «Одесские рассказы». Он был совершеннейший Шенкер везде и во всем! У него были бездонно-голубые глаза в прямом и переносном смысле этого слова. И всю свою жизнь он и прожил на этом «голубом глазу».

Дед свято верил во все, что пишут газеты и о чем говорит радио. И все мое детство прошло под бесконечные споры отца с дедом по поводу всего, что творилось за окном!

Дед в шестнадцать лет, в 1914 году, ушел добровольцем на фронт, был ранен, попал в австрийский плен, бежал, был пойман, опять бежал, был вторично ранен и, наконец, еле живой добрался до своих.

И вот представленных к наградам выстроили на плацу, и какой-то «Их высокопревосходительство» стал вручать награды.

Он шел вдоль строя, останавливался, спрашивал фамилию, одобрительно кивал головой, адъютант подавал орден или медаль, и он лично прикреплял его к груди награжденного.

Так он дошел до деда.

Спросил фамилию.

Дед сказал: «Шенкер!»

Их превосходительство удивленно спросили: «Как?»

Дед повторил.

Высокий чин поморщился, обернулся к адъютанту и сказал: «Чтоб это было в последний раз!»

Сунул деду медаль «За храбрость» в руку и пошел дальше.

С дедом, удивительно добрым, тихим и застенчивым человеком, как утверждали все окружающие, было невероятно трудно жить. В этом нет противоречия. К концу жизни он был уже тяжело болен, у него была водянка и пошаливало сердце, но, как и всю жизнь, он никогда и ни о чем никого не просил. Никогда и ни о чем! Он был уверен, что как есть, так и надо! И это было невыносимо.

Мать, к примеру, приходила с работы:

– Дедуля, ты ел что-нибудь?

– Да, не волнуйся, пожалуйста!

– Что ты ел?

– Там на кухне в кастрюльке суп, я его похлебал немножко...

– В какой кастрюльке?

– В синенькой, на подоконнике.

– Боже мой! Это не супчик, это я поставила мочалку отмокать!

Врача ему мы вызывали вечно тайком, делая вид, что это материн товарищ по работе пришел в гости.

При этом, как рассказывала мать, он был потрясающий «ходок».

Раз в месяц дед «уезжал в командировку». Это могла быть кратковременная командировка на субботу и воскресенье, а могла быть длительная, дня на четыре, на пять.

Несколько раз, когда дед был в очередной «командировке», мать встречала его под ручку с очередной дамочкой на Покровском бульваре.

Естественно, они делали вид, что не знают друг друга.

Мать говорила, что рядом с дедом всегда были отменные, хорошо одетые, красивые холерные женщины, которых совершенно нельзя было отнести к представительницам пролетариата. Где он их находил и, главное, что они в нем находили, невозможно было представить. Нет, вероятно, при самом близком знакомстве они обнаруживали в нем какую-то могучую мужскую силу, но до этого!

Как можно было в этом застенчивом синеглазом существе, с тихим голосом и такими же тихими движениями даже предположить что-нибудь мужское, невообразимо. Вероятно, он с первого взгляда вызывал у них чисто женское любопытство. Они подходили просто посмотреть: что это за симпатичная такая кулема с такими синими глазами? Он их не звал, они подходили сами. Они слетались к нему как мухи на липучку, но из-за своей застенчивости он просто не мог им отказать.

И дед тут же «уезжал» в очередную командировку.

Случаи, которые происходили с дедом, тоже были какие-то кулемные.

У него было длиннополое коричневое кожаное пальто с поясом.

Пальто было гораздо старше деда, но снаружи выглядело несколько моложе своих лет. О возрасте пальто говорила подкладка.

Однажды во время очередной «командировки» в гостинице «Савой», целуя на прощанье утром свою очередную «товарища по работе», он, надевая пальто, попал рукой не в рукав, а в дырку за подкладку.

Поскольку рука наружу не вылезла, он стал вроде как такой однорукий инвалид в кожаном пальто.

Показать свой конфуз дед из-за своей стесняемости не мог, поэтому сунул рукав с рукой в карман и пошел на работу.

Работал он помощником министра то ли речного, то ли морского флота.

Пришел он, как обычно, раньше всех. В наркомате, как назло, сменилась охрана. На вахте стоял молодой сотрудник, который не знал деда в лицо и потребовал предъявить пропуск. Пропуск был в левом кармане, но достать его правой рукой дед не мог, поскольку она была в рукаве. А без пропуска его не пускали. И они стали препираться.

Наконец дед сказал: «Тут вот какое дело», вытащил рукав из кармана и сунул охраннику под нос, чтобы объяснить, что это недоразумение. Увидев направленный на него пустой рукав, охранник решил, что инвалид сейчас саданет его протезом по башке, схватился за кобуру. Тут подкладка прорвалась, и у деда из рукава выскочила рука.

Оттого что у инвалида отросла конечность, охранник стал бел лицом, крикнул: «Ложись!» и выстрелил в потолок. Прибежал караул.

На следующий день дед сдал пальто в комиссионку и в командировки не ездил почти полгода.

Друзья у него были точно такие же.

Очень хорошо помню Александра Александровича. Высокий, седовласый, с прямой спиной и поднятым подбородком. За версту было видно, что идет потомок древнего дворянского рода. Он был коренной петербуржец. Предки его действительно были родовиты и служили при царе по военно-морской части. И сам он и до войны, и потом много лет работал в Ленсовете в промышленном отделе, связанном с флотом.

Когда он приезжал в Москву, он останавливался в «Метрополе» и каждый вечер приходил к нам.

Была у него слабость. Он любил утку с яблоками. И бабушка подавала ему ее в первый же вечер целиком на большом блюде Кузнецовского фарфора, которое в доме доставалось только по особым случаям!

Никогда не забуду, как он ел.

Салфетка за вторую пуговицу, острый нож, и все.

Он съедал утку целиком, потом вытирал два пальца на каждой руке, промакивал салфеткой губы, и все! И ни капли жира или кусочка на скатерти. Ничего. Только чистые косточки на тарелке! Как он ухитрялся это делать, не понимаю до сих пор!

Во время войны в блокадном Ленинграде он поздно вечером возвращался домой с работы.

Какой-то невзрачно одетый прохожий спросил у него, который час.

Он не глядя ответил и пошел было дальше, но схватившись за карман, понял, что часов нет.

В два прыжка догнал человека, сцапал за грудки и грозно рявкнул: «Часы!»

Тот беззвучно отдал и сгинул во тьме.

Александр Александрович пришел домой и жене своей, которую звали Александра Александровна, задыхаясь от гнева, поведал о происшествии со словами:

– Ты только подумай, Шурочка, какие сволочи! Люди кровь свою проливают, помирают от голода, а эти сволочи грабят на улице! Своих, ты подумай, своих грабят! Какая гадость!

Александра Александровна тихо сползла в кресло и, бледнея, прошептала:

– Что ты наделал, Саша? Ты ограбил человека, твои часы дома!

И много лет потом они подавали объявления в газеты, но никто не пришел. Часы эти так и лежали у них всегда на тумбочке при входе.

Война болела у отца всю жизнь до самого конца. Он не выносил анекдоты про войну и совершенно не мог смотреть на эту тему фильмы.

Как только по телевизору шли «Отец солдата» или «Судьба человека», он начинал курить папиросы одну за одной, и у него начинали трястись плечи. Мать тут же бросалась к нему, обнимала и начинала шептать: «Аркадий, Аркадий...» И так они вдвоем и досматривали фильм. Телевизор отец выключать не давал.

В пятьдесят третьем отца выперли из армии, не почему-нибудь, а потому что, как сказал ему тыловой боров в военкомате, «в русской армии развелось слишком много Якубовичей!».

Отец надел ему стул на голову, отсидел трое суток в милиции, откуда его, слава богу, удалось вытащить.

Еще раз он чуть не загремел туда, когда они с матерью пришли в ателье перелицовывать древнюю шубу, которую мать называла «мое китиковое манто».

– Гражданка! – сказал старый закройщик матери. – Я с вас смеюсь! У вас же слабая мездра!

– Что?! – взревел отец, хватая его за грудки. – Что ты сказал о моей жене?! Повтори! У кого слабая мездра?! У моей жены?! Повтори, что ты сказал?!

Мать его еле оттащила, отпоила водой закройщика, и они успели удрать до прихода милиции.

И потом много лет дед издевался над отцом, говоря по любому поводу: «Конечно, мы тебе отдали здоровую, а ты ее до чего довел? Теперь у нее уже и мездра слабая, и вообще...»

Другая моя бабушка, Полина Савельевна, папина мама, была совершеннейший божий одуванчик с железным характером! Замуж она вышла в 1912-м. Через год родила сына, стало быть, моего отца, еще через год второго моего деда тоже призвали. Его отец, то есть, значит, мой прадед, Филипп, был главным врачом на санитарном поезде. И чтобы невестка с внуком не померли от голода, взял ее с собой.

Бабушка, нужно отдать ей должное, была, что называется, «горный ручей»! Она все время говорила. Все время. Он начинала говорить, когда просыпалась, и говорила, пока не засыпала! Впрочем, по-моему, во сне она говорила тоже!

Дед терпел, видимо, долго. И, наконец, поняв, что она не заткнется никогда, чтобы не задушить своими руками мать собственного внука, «выслал» ее на кухню помогать кашеварить!

Вот же опять какое совпадение! За главного там был один из бывших поваров в доме князей Юсуповых, который научил бабушку готовить потрясающе!

Я писал об этом в рассказе «С пылу с жару» в первой моей книжке.

Через много лет бабушка, уже будучи начальником аптеки Центральной клиники МПС, поселилась в доме на Нижней улице.

Именно так – не заведующая, а начальник аптеки ЦКБ МПС! МПС в ту пору была организация полувоенная, бабушка, как все, ходила в черной форме с узкими зелеными погонами, и аптека, которой она командовала, была очень большим подразделением одной из самых крупных клиник Москвы!

Жила она в 15-метровой комнате трехкомнатной коммунальной квартиры.

Две другие комнаты занимала семья железнодорожного генерала, звали которого Иван Терентьевич. Фамилию не помню. Был он жуткий солдафон, и жить с ним в одной квартире было нелегко.

Собственно, из двух комнат семья его занимала одну. Он с женой, тихой и милой женщиной, и взрослой дочерью жил в одной комнате, а другую занимало все, что он смог вывезти в

1946-м из Германии. Там друг на друге стояли два рояля, и все остальное пространство занимали тюки, свертки и коробки.

Еще у него была немецкая овчарка Аза, которую он тоже привез оттуда. Это была приземистая невысокая сука, которая взята была из своры собак, охранявших какой-то лагерь военнопленных.

Аза боялась и ненавидела своего хозяина и обожала моего отца.

По воскресеньям, традиционно, мы приезжали к бабушке на обед, при воспоминании о котором у меня до сих пор текут слюнки!

После обеда, пока мать с бабушкой убирали со стола, мыли посуду и вообще занимались домашними делами, отец ложился отдыхать на диван.

И тут в комнату тихо, прижав уши и хвост, входила Аза. Несколько минут стояла, потом тихонько подходила к дивану, где лежал отец, клала голову и замирала. Потом тихо-тихо рядом с головой клала одну лапу... потом немного погодя вторую... Потом не выпрыгивала, а вползала на диван, ложилась рядом с отцом и прямо по-человечьи облегченно вздыхала.

Однажды, когда никого не было дома, в квартиру влез вор.

Аза, когда услышала, что чужой вскрывает дверь, не залаяла, как какая-нибудь беспородная дворняга, а тихо ушла в ванную и замерла там.

Этот человек раскинул простыню, сложил туда что нашел, свернул в узел и, взвалив на плечи, шмыгну к выходу.

А там молча сидела Аза.

Когда приехали милиция и «скорая», квартира была залита кровью. На полу корчился человек с перекушенной рукой, а над ним, вцепившись ему в горло, застыла Аза. Как обычно без звука.

Первые два класса я учился в знаменитой на Москве 330-й школе. Порядки там были, по сегодняшним временам, просто фантастические!

Каждое утро весь преподавательский состав во главе с директором Мостовым выстраивался на широкой лестнице перед входом в школу, приветствуя учеников. С первого класса все учителя обращались к нам только на «вы».

– Леонид! – говорила мне учительница, глядя на мое заляпанное лицо. – Зачем вы дунули в чернильницу-непроливайку?

Откуда ей было знать, что это я на спор решил доказать, что чернильница не только непроливайка, но даже и невыдувайка! Я ошибся. Она была очень даже выдувайка.

Вообще, следует сказать, везенье и невезенье бог поселил во мне в пропорции один к трем. Мне почти всегда везло по-крупному и просто катастрофически не везло в мелочах.

А так все было замечательно! И школа, и дом, и двор, да и вся жизнь вообще была замечательная!

В нашем дворе я всегда был Чапаевым, потому что у всех были самодельные деревянные пистолеты, а у меня был хромированный расширитель из маминого инструментария!

Двор наш, кстати, как, наверное, и все дворы в тогдашней Москве, был, мягко говоря, не совсем интеллигентский. Выяснения отношений, драки были вполне привычным, едва ли не ежедневным делом. Однако правила соблюдались неукоснительно! «До первой крови», «Лежа-чего не бить» и все такое – это не нарушалось никогда! Равно как и экстерриториальность двора, которую плечом к плечу мы отстаивали много раз.

И чтобы покататься на катке на Чистых прудах, надо было сначала договариваться с местными. В договор, собственно, входило несколько простых пунктов: не задиаться, не приставать к местным девчонкам, не лезть без очереди за коньками и не втюхивать лишние билетки перед входом в кинотеатр «Колизей».

С третьего класса нас перевели в 336-ю школу, и мы стали учиться с девочками.

До седьмого класса ничего особенного не происходило. Так, мелочи.

Однажды мы затащили на крышу школы арбуз, и он у нас выскользнул и грохнулся вниз. А там завхоз как раз орал на кого-то. По лысой башке его арбуз, слава богу, не попал, но грохнулся прямо у его ног. Завхоза, всего в корках и семечках, увезли с сердечным приступом, а мы отправились к директору. Скандал был страшный. Отца вызвали в районо по поводу моего исключения из школы, но ему как-то удалось замять дело.

Второй раз дело чуть не дошло до милиции. Как известно, в ту пору главным делом пионеров кроме учебы и пионерских собраний был сбор макулатуры и металлолома.

В назначенное воскресенье все как угорелые метались по свалкам, подворотням, подъездам и квартирам и тащили все, что могли, во двор школы.

В понедельник на утренней линейке объявлялся победитель!

Наш седьмой «А» был победителем всегда, пока нас не зацапали.

Дело в том, что рядом с Курским вокзалом были ремонтные мастерские, в которых кроме охраны в виде тетki с пустой кобурой было все для завоевания первого места! У мастерских был свой план по металлолому, который в виде железного хлама аккуратно складировался в углу депо. Чего только там не было. И, справедливо полагая, что мы делаем одно общее государственное дело, мы потихоньку воровали оттуда, что могли, через дыру в стене и волокли к себе в школу. И все было неплохо, пока однажды, когда тетка с кобурой куда-то отлучилась, мы не утащили новенькую колесную пару вместе с тележкой. Мы ее перли, обливаясь потом, через улицу Чкалова, потом по нашему переулку до самой школы. Как мы ее дотащили, не знаю до сих пор, все-таки почти полторы тонны, но дотащили. Отмечали нас, правда, опять в кабинете директора школы в присутствии охраны депо, родителей и участкового милиционера.

Меж тем учителя у нас были замечательные. И учили нас превосходно, приучая не зубрить механически, а думать. И учиться мы не то что любили, но нам это нравилось, потому что школа была едва ли не вторым домом. Половина кружков и секций были в школе. И с первого класса по выходным, получив по 15 копеек на карманные расходы, мы всем классом во главе с учителями ходили в театр, или в музей, или в кино. И не было у нас никого, кто бы не ходил в какую-нибудь секцию или кружок. Ни одного не было. Я ходил в секции конькобежного спорта и бокса в Институт физкультуры. Плюс в радиокружок, на шахматы и в театральную студию на Покровке, где и сейчас стоит знаменитый «Дом-комод».

И учились мы, несмотря на безалаберное веселье, хорошо! Может быть, потому, что учили нас правильно, что ли.

Ну, к примеру, учительница наша по русскому языку и литературе Римма Николаевна Успенская неделю вместе с нами по ночам ездила на подмосковные станции колоть лед на платформах, чтобы заработать денег и поехать в Ясную Поляну, где и начать знакомить нас с романом «Война и мир»! Наверное, поэтому до сей поры стоит у меня в книжном шкафу полное собрание сочинений Льва Николаевича, и я нет-нет да и начну перечитывать оттуда что-нибудь.

И физика нам нравилась, и математика. И рисовать мы учились не в классе, а в Пушкинском музее.

И что такое ЕГЭ мы, слава богу, знать не знали, потому все без исключения легко поступали потом в институты.

В седьмом классе случились три знаковых для меня события.

Во-первых, я впервые вышел на театральную сцену. Конечно, это была не настоящая сцена, а небольшое возвышение в актовом зале школы, но все равно это была Ее величество сцена!

Ставили «Двенадцатую ночь» Шекспира. Мне досталась роль Шута. Декорации и костюмы, естественно, готовили сами. Сами строгали, сами пилили, сами красили. Родители шили костюмы.

Вот тут случилась история, которую запросто можно отнести к неразгаданным тайнам века!

Костюм Шута, как принято, должен быть яркий и разноцветный. Поэтому мать купила два отреза ткани – синюю в горошек и красную в горошек. Два абсолютно одинаковых по размеру отреза! И они с теткой сели шить.

Я не знаю, как они шили, ответа на этот вопрос как не было, так и нет до сих пор, но из красной ткани были пошиты полкурточки, половина штанов, колпачок с бубенчиками и перчатки.

Синей не хватило даже на курточку.

Причем не осталось даже лоскутка! Ни от той, ни от другой!

Все это мелочи. Успех был грандиозный! Но дело даже не в этом. Наверное, нет, даже наверняка с этого представления я заболел театром!

И тут начинается «во-вторых».

Я записался в Народный театр ЗИЛ. Тоже совершенно случайно. Нет, не в театр случайно, а в театр Завода им. Лихачева.

Я шел с тренировки и увидел объявление о наборе в школу-студию.

И я пошел и записался.

Несмотря на звание «Народный», это уже был театр в полном смысле этого слова. И при нем была школа-студия, где нам преподавали сценическую речь, танец, фехтование и все такое прочее, как в любом театральном училище. Руководил театром Сергей Львович Штейн, в те времена главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола! А танец мне преподавала Кира Прошутинская. Кира Александровна, как все ее звали. Кира, с которой мы дружим уж страшно сказать сколько лет!

Что сказать – в этом театре играли Лановой, Земляникин...

Все свободное время я жил в театре! И тогда, и сейчас я люблю запах кулис, я люблю эти маленькие гримерки, я люблю учить роли и я боготворю сцену!

Я пропадаю в придуманной атмосфере настолько, что иной раз просто забываю, кто я есть на самом деле. Профессионалы говорят, что так нельзя. Понимаю, но...

Мои первые роли – в спектаклях «Кондуит и Швамбрания» и «Овод».

Первый выход на сцену прошел без эксцессов, да и роли там не было. Я сидел в классе вместе с другими «учениками» – и ни слова весь спектакль.

Зато в «Оводе» у меня настоящая роль. Маленькая, но роль! Со словами!

Я изображал «Джибанса – слугу в доме Бартонов», так значилось в программке.

Сцена, придуманная Сергеем Львовичем, представляла собой высокий станок с широкой лестницей вниз на пол сцены, граничащий с рампой, за которой была оркестровая яма.

В конце первого акта я должен появиться на станке, в колете, штанишках, берете с пером и с подсвечником. Я должен был выйти и сказать сидящему в кресле Василию Семеновичу Лановому, который играл Овода, следующее: «Господ нет дома, сэр! Барыня просила передать, что она просит вас зайти к ней, когда она вернется!» И все!

Был полный зал. Во втором ряду сидела вся семья – мои папа, мама, дед, две бабушки и тетя с сестрой!

И я вышел. И я пошел по станку с подсвечником в руке. И Овод поднял голову и посмотрел на меня.

И я сказал: «Господ нет дома, сэр! Ба...»

Больше ничего сказать я не успел, потому что сделал лишний шаг и с грохотом покатился вниз по ступенькам, прижимая к себе подсвечник! Последнее, что я увидел, прежде чем рухнуть в оркестровую яму, был багровый от смеха Овод.

Зал, как обычно, решил, что так и надо, и даже поаплодировал моему мастерству.

Ну, и в-третьих, в седьмом классе я влюбился. Любовь моя, как и вся моя дальнейшая жизнь, была похожа на веселый, радостный, умопомрачительный бег с препятствиями. Ее звали Оля. Папа ее служил по дипломатической линии и чаще находился за границей. Она жила с теткой. У нее еще был старший брат, но я его не видел ни разу.

Все складывалось как обычно. Безоблачно, но с препятствиями.

Стадию танцев-прижиманцев, поцелуев в подъезде и прочую прелюдию мы прошли за полгода. И тут, когда я уже был в полушаге от повышения статуса от «мальчика» до «мужчины», она вдруг поставила условие!

Она сказала, что готова подарить мне право быть «первым» при условии, что я прыгну с парашютом! Я сказал, что готов быть «вторым», получил по морде, мы две недели не разговаривали, но потом я согласился.

Месяц я должен был ходить в секцию. В каком-то полуподвале в Тушине был класс, по стенам которого были развешаны плакаты и инструкции, а с потолка свисали парашютные стропы. И я ездил туда по вечерам на метро, потом на троллейбусе, потом еще пешком. Мы слушали инструкции, висели на этих стропках, приучаясь держать ноги вместе под тридцать градусов, и, что особенно было приятно, проходили курс оказания первой медицинской помощи при ушибах и вдавленных переломах! Через десять дней мне это надоело смертельно.

Я объявил, что лучше останусь «мальчиком», чем состарюсь в этом подвале!

Ничего не вышло. Оказалось, что ее брат то ли работает в ДОСААФе, то ли сам прыгает с парашютом, короче, тут его все знают. И она, не объясняя причины, уговорила его добиться, чтобы мне разрешили прыгнуть досрочно!

И вот в солнечный воскресный день я обнаружил себя в шеренге таких же «перваков» с полной парашютной выкладкой на плечах. В отличие от всего, что я читал в книжках и видел в кино по поводу радостного ожидания первого прыжка, счастья и гордости от того, что тебе предстоит преодолеть себя и пространство, я не увидел, как ни вглядывался в лица стоящих рядом со мной. На всех лицах явно читался один вопрос: «На хрена мне это надо?!»

В отличие от остальных, я чувствовал себя более-менее спокойно, потому что почти был уверен, что, конечно, никто мне прыгать не разрешит и вообще все это проверка на вшивость! Поэтому имел возможность с интересом наблюдать за обстановкой вокруг.

Нас было двенадцать. Мы стояли у трапа АН-2 в ожидании погрузки. Кто курил тайком, пряча сигарки в рукав, кто начинал что-то рассказывать, тут же прерывался, перескакивал на другую тему, замолкал и начинал сначала. Один все время шептал что-то, то ли стихи читал, то ли молился на прощанье. Другой перелистывал записную книжку, задирали глаза к небу, потом опять заглядывал в записи и опять задирали глаза.

Короче, мы стояли и ждали. И чем дольше мы ждали, тем все больше и больше как бы сгущалась атмосфера.

Наконец пришли инструктор в комбинезоне и еще один здоровенный старшина в летной куртке и шлемофоне.

Инструктор еще раз со списком обошел строй, а старшина сразу полез на борт.

Прошла команда, и мы обреченно один за одним стали карабкаться в кабину.

Все расселись по откидным сидушкам, двери закрылись, пару раз что-то оглушительно хлопнуло снаружи, и тут же двигатель заработал ровно и мощно.

Взлетели. Набрали шестьсот метров. Замигала лампочка над кабиной. Все встали, защелкнули, как велели, карабины на тросе под потолком. Инструктор прошел, проверил, все ли так.

Старшина открыл дверь и встал напротив.

Зажглась красная лампочка, прозвучали два коротких звонка и началось.

Первые трое вывалились нормально, но вот четвертый...

Четвертого заклинило. Он стоял у открытой двери, вцепившись пальцами так, что посинели ногти, и ни туда, ни сюда.

Тут сразу выяснилось, для чего здесь этот двухметровый старшина. Он стоял, пригнув голову, лицом к дверце, спиной упираясь в переборку.

И в тот момент, когда этот застрял в дверях, он, ни слова не говоря, ботинком сорок шестого размера саданул его изо всех сил по задку так, что тот пулей вылетел в никуда, как мне показалось, даже с куском обшивки! И крик его мгновенно утонул в шуме набегающего потока и рева мотора!

Дальше все пошло гладко. Народ исчезал в проеме без пауз, как патроны из обоймы. Я был седьмым.

Честно сказать, я не столько думал о том, что будет после того, как я шагну в пропасть за дверцей, как о том, чтобы не получить сапогом по жопе. Поэтому, бесконечно бормоча «Я сам! Я сам! Я сам!», я не выпрыгнул, а вывалился боком, даже не поняв, что, собственно, произошло! Я не только понять ничего не успел, но даже испугаться! Я и ахнуть не успел, как он раскрылся!

Тут надо кое-что пояснить. Кто знает, тот может подтвердить, что парашют – это целая система, которая кроме купола включает в себя еще и стропы, слайдер, стренгу и, главное, подвесную систему. То есть то, на чем держится сам парашютист. У нее есть лямки. Плечевые и те, которые проходят между ног. Их надо затягивать. Сильно затягивать, потому что...

Потому что если их не затянуть, то, когда раскроется купол, ты со всего размаха ляпнешься самым сокровенным местом на эти лямки, которые между ног, и, может так случиться, будешь вспоминать об этом всю оставшуюся жизнь!

Я их не затянул. И когда раскрылся парашют, говорят, мой крик заглушил рев пролетающих самолетов!

Месяц я ходил «циркулем», не помышляя ни о каких мирских удовольствиях, а слово «любовь» вызывало у меня болезненные эмоции.

Однако все проходит, и через месяц-два я опять стал вожделеть.

Самое интересное, что она без хихиканий и идиотских насмешек дождалась моего выздоровления, никому не сказав ни слова о моем фиаско!

И все вернулось на круги своя. Опять пошли танцы-обжиманцы, поцелуи и, наконец, настал день, когда...

Была зима. Хлопьями шел снег, падал и хрустел под ногами. Был сказочный вечер. Или мне так казалось. Мы шли по улице к ней домой. И все было бы замечательно от предвкушения, если бы она не сводила меня с ума, все время повторяя, чтобы я не волновался!

Она буквально через каждые пять минут говорила: «Ну мало ли что! Ты не волнуйся, я тебе потом все объясню!» Пройдем еще немного, опять: «Ну хочешь, давай в другой раз! Сначала зайдешь к нам просто так, а?» Еще минут пять – и снова: «Я тебе просто объяснить хочу, человек боится того, чего не знает! И все! Мало что у кого дома, люди ведь разные, понимаешь?» Мы уже в подъезд вошли, она меня дернула за рукав и опять: «У тебя дома кто есть? Ну, кошка, собака есть? А мышки?.. Ну, неважно, это же хорошо, когда дома кто-то есть, правда?»

Вошли в лифт, поднялись на этаж, уже перед дверью она прижалась ко мне и, глядя в глаза, ласково так зашептала: «Ну, все, успокойся. Взяли себя в руки. Думаем о хорошем. И только без резких движений, ага?»

Мне аж в голову садануло! Ну какого черта, в самом деле, не хочешь – не надо! Что пристала? Успокойся, успокойся! Я и так спокоен!

Весь вечер бу-бу-бу, бу-бу-бу! Что пристала?! Что ты ко мне пристала со своим «не волнуйся»? Я, между прочим, к тебе не напрашивался, ты сама пригласила!..

И пока я все это бухтел, она открыла двери, мы вошли, и она щелкнула выключателем.

Шапку я, правда, успел снять.

И все! И окостенел мгновенно и наповал.

Прямо перед моим лицом качалась башка здорового питона. Тело его обвило массивную деревянную вешалку, а башка торчала прямо передо мной.

Впервые в жизни я понял, что такое «отнялись ноги». Их не свело судорогой, колени не подогнулись и никакие мурашки по мне не забегали!

Ног просто не стало! Не стало, и все! Я осел на пол и так застыл, с шапкой в руке.

Все мои желания испарились мгновенно. Я прямо видел, как они облачком выпорхнули из меня. Сконцентрировались в одно огромное единственное желание бежать отсюда к чертовой матери и обрушились на меня ледяным потным комом. Вероятно, меня разбил паралич.

Она гладила меня по голове, что-то говорила, принесла воды из кухни, я сидел, как жена Лота, на полу и не мог вымолвить ни слова.

А эта тварь мирно уместилась возле меня и положила башку мне на колени.

Потом уже, через какое-то время, я к нему привык. Не сразу, но привык. Оказался он существом удивительно добрым и умным. Звали его Тим. Тимофей. Никого он не трогал, лежал себе и лежал. Или подползал, чтобы его гладили. Кормили его два раза в месяц. И он замечательно играл с Олькиной младшей сестрой. Он сворачивался кольцом, и она сидела внутри, как в маленьком манеже, и играла или спала. Он позволял ей делать с собой что угодно. Единственное, он не подпускал ее к балконной двери. Как только она перелезала через него и начинала ползти к балкону, он тут же распрямлялся, тюкал ее носом и загонял обратно в круг, куда она с хохотом и опрокидывалась.

Ах, этот седьмой класс! Моя первая любовь и мои первые награды.

В седьмом классе я получил первый юношеский разряд по плаванию и по стрельбе.

К плаванию меня приучил отец, который с пяти лет возил меня по воскресеньям на «Автозаводскую» в бассейн ЗИЛа.

А стрелять я ездил два раза в неделю в Мытищи на стрельбище «Динамо». Стреляли мы из мосинских винтовок образца 1891 года по пистолетным мишеням. Нормальный стандарт: «лежа», «колени», «стоя». Сначала на 100 метров, потом на триста, а к концу я уже кучно клал на пятьсот и на шестьсот. Правда, с оптикой.

По воскресеньям вечером я еще ухитрялся ходить в конькобежную секцию в Институт физкультуры на улице Казакова и вместе с Колькой Болотовым записался в кружок «Радио и телемеханики». Но позаниматься там как-то не случилось.

То ли в самом конце мая, то ли в начале июня мы бездумно брели с ним по улице, поглядывая на девчонок и болтая ни о чем. Занятия в школе закончились, планов не было никаких. А какие планы? Как родители решат, так и будет. Может, в пионерский лагерь, может, на море, а может, снимут дачу под Москвой, и придется сидеть там до осени.

Но!

Это «но», как я уже говорил, преследует меня всю жизнь. Я не знаю, что это: судьба, случай, предназначение... не знаю. Оно есть, и все!

Разглядеть эту бумажку мы в любой другой ситуации не могли! Не могли, и все. Мы просто шли мимо, и она чуть отлепилась от доски объявлений и висела на одном уголке. И я ее поправил. Все! Ничего больше!

Но с этого все и началось.

Прямо напротив планетария по другую сторону Садового кольца в ту пору находился Дом туриста. Здание то стоит там и сейчас, что в нем, понятия не имею, а тогда был Дом туриста. Даже, по-моему, центральный.

И бумажка эта висела на доске объявлений как раз на углу этого самого дома.

Там было написано: «Требуется два студента для работы в Восточную Сибирь в экспедиции профессора Вашкова. Обращаться в ЦНИИДИ, Миусская площадь, дом...».

Казалось бы, ну что особенного? Ну, бумажка! Что такого? Плюнуть и растереть!

Так нет же! Черт дернул нас зайти внутрь. Он же поволок нас в комнату орготдела, и в результате мы вышли оттуда с направлениями в этот самый ЦНИИДИ. Нас никто ни о чем не спросил. От нас не потребовали документы. Просто спросили, что надо. Потом – как фамилии. Потом заполнили бланки и сказали, куда ехать! Все!

И мы поехали в ЦНИИДИ. Как оказалось, это был Центральный научно-исследовательский дезинфекционный институт.

Мы показали при входе направления, и нас отвели в какой-то кабинет.

И мы вошли!

И именно с этой минуты как будто за нами закрылась дверь в один мир и открылась другая, в иное измерение.

В кабинете сидел совершенно обаятельный человек, которого звали Андрей Николаевич Алексеев. Был он профессором и завлабораторией чего-то.

Через полчаса беседы мы уже были готовы ехать с ним не только в Восточную Сибирь, но и к черту на кулички! Правда, в экспедицию брали студентов, но мы его уговорили. В два голоса мы сплели целую грустную историю о наших младших братьях и сестрах, которых надо кормить, и о родителях, которые зашиваются на двух работах, и что мы уже решили перейти в вечернюю школу, чтобы хоть как-то помочь несчастным нашим предкам!

Не думаю, что он нам поверил, мужик он был мудрый, но почему-то согласился взять нас разнорабочими, потребовав, правда, письменное согласие родителей.

При этом мы уговорили его взять в экспедицию еще и Юрку Тихомирова, который знать ничего, естественно, не знал, и эта новость должна была его, как мы полагали, обрадовать. Потому что он был нашим другом. И вообще!

Через час я явился домой с рюкзаком, в котором были резиновые сапоги, штормовка, две тельняшки и пара портянок.

Услышав, что я собрался уехать в Сибирь, мать сказала: «Поешь сначала!»

Отец помолчал, потом спросил: «Тебе десять рублей на дорогу хватит?»

И через два дня я уже ехал поездом Москва – Лена во взрослую жизнь.

Леспромхоз «Пашенный» находился в сорока километрах от Братска на небольшом разъезде, где поезд стоял всего минуту. Плюс еще четыре с копейками по таежной грунтовке.

Это был маленький поселок с единственным селыпо, бараками для рабочих, конторой и, по-моему, лесопилкой. Все это располагалось на берегу речки Шаманки. Жутко холодной речки, дно которой было сплошь выложено яшмой.

Именно там впервые я стал вычислять, где бы я хотел жить.

Я решил, что хочу жить в тайге.

Потом постепенно к тайге прибавилось «и чтобы рядом было море»... потом – «и чтобы рядом были снежные горы, чтобы кататься на лыжах»... потом еще «чтобы рядом был аэродром»... потом – «и чтобы рядом были дома моих друзей»... и еще многое, чтобы было рядом.

Но сначала была тайга.

Дело не в том, что я никогда даже не представлял, что может быть столько грибов и что за голубикой можно ходить на опушку не с корзинкой или ведерком, а с корытом, которое набиралось полностью за какие-нибудь полчаса! И дно Шаманки из яшмы, которую я видел только на картинках в школьном учебнике природоведения!

Но все это, разумеется, «чтобы не было мошки, комаров и мокриц», которые первое время доставали до умопомрачения!

Меня совершенно потрясло величие этой оглушающей тишины и покоя. До такой степени, что первое время я разговаривал в тайге шепотом.

Работа была, что называется, не пыльная.

Утром мы выходили в тайгу, снимали штаны и в одних трусах сидели где-нибудь на пенке до обеда.

Работа заключалась в следующем. Перед выходом нам выдавали каждому разные репудины, такие препараты от насекомых, которые как раз испытывались в этой экспедиции. Значит, надо было сесть, намазать себе одну ногу одним репудином, вторую – вторым. Взять в руки часы с секундомером и блокнот. Считать и записывать.

– Девять ноль пять. Укус в левую ногу...

– Девять ноль шесть. Укус в правую ногу...

– Девять двенадцать. Укус в левую ногу...

И так до обеда.

Иногда нас ставили под «колокол». Круг из проволоки, прикрепленный на высоте метров двух, обтянутый материей. Надо встать под ним минут на двадцать, потом дернуть за веревку, ткань падала вниз, и ты оказывался внутри. И дальше сачком вылавливать всех, кто туда залез, кроме тебя. Аккуратно собрать и отдать лаборантам. Ходили мы в сетках Павловского, тоже пропитанных разными смесями.

Кроме всего прочего мне вменялось в обязанность ходить на станцию за молоком или за хлебом, с которым иногда были перебои.

Примерно четыре километра туда и столько же обратно.

Через пару-тройку недель уже выработался некий иммунитет, и укусы комаров не ощущались так больно, единственное, раздражала мошка, которая лезла в нос и рот и от которой некуда было деться!

Все было бы легко и замечательно, если бы не бык. Здоровенный такой бык. Не знаю, чем я ему не понравился, но он меня невзлюбил с первого раза. Когда стада не было, все было спокойно, но если идти приходилось под вечер, оно возвращалось, и он меня прямо-таки ждал.

Я прятался от него, пока не обнаружил толстую разлапистую сосну с низкими ветками, по которой легко бывало в случае чего взбираться. И как только бык начинал кровавить на меня глаза и бить копытом, я влезал вверх метра на два и сидел там, пока он бродил вокруг.

Через неделю ему это надоело. Мне, правда, тоже. И у нас наступило перемирие.

По тайге я ходил обычно с ТОЗовкой. Такой хорошо пристрелянной мелкашкой, которая почему-то хранилась в конторе.

Оружие нам не полагалось. Не знаю, как сейчас, но по тем временам бродить по тайге с оружием могли только местные опытные мужики, а не такие пацаны, как мы. Были «зоны», и редко-редко, но были беглые. Мало ли что. Их не то чтобы боялись, но при случае всех оповещали, что был побег. И временно женщин и детей глубоко в тайгу не пускали.

Тут, правда, были удивительные негласные правила.

К примеру, в тайге были сторожки.

Такое врытое в землю небольшое сооружение, оборудованное всем необходимым. Там было все, что нужно, чтобы продержаться в случае чего. Ну, мало ли, заблудился человек или вдруг заболел. Или рана какая.

Маленькая печка с вязанкой сухих дров. Аптечка. Спички. Соль, чай, сахар, сухари. Стол с вырезанной на столешнице картой. Лежанка и кой-какая одежда.

За этим всем следил лесник.

Условия простые. Надо – приди, возьми что хочешь. Перекуси. Переночуй.

Но хоть когда, хоть через месяц, хоть через год, возместить, что взял. Не можешь сам – передай через кого-нибудь. Взял пачку чая – верни. Взял сухари – верни... Или дай кому-нибудь денег, чтобы купили, раз сам почему-нибудь не можешь! Это незыблемо!

Однажды я спросил лесника а как же беглые? Им-то не все равно – правила, не правила.

Он сказал: «Нет!»

И на мое идиотское: «Что нет?» он ответил: «Тут не город. Судов, прокуроров нету... Тут болота кругом. И не найдут. Искать не станут».

Мелкашку мне все-таки дали. Патронов было коробок, наверное, десять, может, больше, стреляй хоть до посинения.

С этой мелкашкой у меня были два памятных случая.

Обычно я ходил и стрелял по шишкам, по наростам на деревьях, по сучкам. Сам себе выбирал мишени и расстояния и стрелял.

Однажды мы втроем сидели на полянке у небольшого болотца, курили и трепались обо всем на свете. Мир и покой царили вокруг. Птичий клин пролетел над нами. Проскакал заяц. Две коровы пришли и стали пить воду метрах в трех от нас. Пищали комары. Стаи мошки вились в воздухе, но особенно не досаждали из-за папиросного дыма.

Так нет же! Шило в заднице, как обычно, не дало насладиться уютом бытия!

Колька с Юркой заспорили, можно ли ездить на корове. Слово за слово, и дело чуть не дошло до драки.

Один орал: «Фигня вопрос!», другой: «Кишка тонка!»

Я пытался их разнять, куда там!

Я плюнул, взял мелкашку и стал выбирать, куда бы пальнуть.

Колька схватил корову за веревку на шее и повел ее к пеньку, на который уже взгромоздился Юрка. Корова особенно и не сопротивлялась. Шла себе спокойно.

В это время я высмотрел такую большую серую грушу на дереве, почти над тем местом, где на пеньке стоял Юрка. Она висела, покачиваясь, здоровенная такая, неровная, и из нее торчали несколько маленьких сосновых веточек. И сбоку у нее была дырка.

Колька подвел корову.

Юрка ухватил ее за рог и влез на спину.

Я выстрелил и попал в самое основание этой груши. Она рухнула на землю.

И из нее вывалился мохнатый ком диких пчел, который стал расти на глазах.

И они облепили Юрку вместе с коровой.

Мы с Колькой успели прыгнуть в воду!

Юрка не успел.

Корова тоже.

Через пару секунд мы с Колькой высунули голову из воды, чтобы хватить воздуха, и тут же чуть не захлебнулись от смеха.

Такого я не видел никогда.

По поляне в диком галопе скакала ошалевшая корова. Вымя ее моталось из стороны в сторону, и ровно так же на ее спине мотался Юрка, высоко подпрыгивая на хребте.

Смех смехом, но Юрка потом трое суток мог спать только на животе, а сидеть не мог вовсе и ел стоя. И рожи у нас были прямо на загляденье: только щелки вместо глаз, толстенные щеки и сардельки вместо губ.

Другой раз я набрел на малинник. Просто потрясающий малинник. Ягод было столько, что листья как-то были и не заметны.

Я оставил мелкашку и, как водится, не стал рвать ягоды, которые поближе, а полез внутрь.

Раздвинул ветки.

И окостенел.

Прямо передо мной сидел медведь.

Он сидел на заднице, обхватив лапами куст с ягодами.

Такой симпатичный медведь. Небольшой такой.

От неожиданности он, видимо, окостенел тоже.

И мы так сидели не знаю сколько.

Тут вдруг где-то рядом громко хрустнула ветка.
Мы как ломанулись в разные стороны!

Я винтовку потерял. А у него случилась медвежья болезнь. Винтовку потом, как я понял, по следам этой болезни и нашли.

Шестнадцать лет мне исполнилось там, в тайге. В прямом смысле этого слова.

Лесник, о котором я говорил, был огромный дядька, под два метра ростом, косая сажень в плечах, но со странно тихим и уютным голосом. Он нас учил, как не заблудиться в тайге, что можно есть, а что вообще лучше не трогать.

31 июля 1961 года он сложил гигантский костер из огромных веток в мою честь. Он жарил нам мясо и угощал самодельным малиновым вином и жутко крепким самогоном.

Именно там, в эту ночь, когда искры от костра поднимались до самого неба, он впервые наградил меня «Аркадичем»! С тех пор весь мир меня называет так, а не иначе. Без имени. Просто Аркадич! Но он был первым.

Он встал, с кружкой в руке, в отблеске костра, огромный, то ли казавшийся, то ли существующий на самом деле, и сказал:

– Аркадич! Что есть Бог? Тайга вон кругом, огонь этот, луна, звезды – все Бог! Вино, которое ты пьешь, тоже Бог! Друзья твои, вот рядом сидят, они тоже Бог! И птицы, и звери, и речка – это все Бог! Все, что просто и правильно, есть Бог! Вот, значит, я и желаю тебе... живи с Богом! И не ищи другого! Ничего другого искать не надо, потому что другого нет!

Сказал, выпил и ушел.

А мы сидели еще долго. Пока не погас костер.

Вообще, все было бы замечательно, но экспедиция закончилась в середине сентября. В школу я опоздал.

И меня выгнали.

И я пошел работать.

И это были опять лучшие годы в моей жизни.

Завод находился на улице Радио и назывался п/я 116. Знаменитая Туполевская фирма! Тогда знаменитая. Сейчас на этом месте почти ничего и не осталось.

Меня оформили учеником токаря. Через год перевели в электроцех. И я стал электро-механиком по грузоподъемным устройствам. Лифты, краны и т. д.

Господи, как мне повезло! Спустя много лет я услышал песню «Меня зовут, меня зовут Рабочий класс!». Вот я и попал именно в такую бригаду. Это был рабочий класс, в совершенно истинном смысле этого слова! Нет, они были нормальные ребята, как все, что ли. Но у них было какое-то обостренное чувство рабочей чести! Это они приучили меня, что то, что ты делаешь, делать нужно один раз! Чтобы потом никому не пришлось переделывать все заново! И оно так и было! Но это не все. Казалось бы, ну какое им дело, чем я занимаюсь после работы! Ну, не все ли им равно, с кем я встречаюсь, с кем пью пиво, какие у меня отметки в вечерней школе и вообще! Фигушки! Курить мне запрещалось! С собой они меня брали и в баню, и на посиделки, но следили строго, сколько мне можно выпить! И, главное, что меня поразило, время от времени отправляли кого-нибудь в вечернюю школу узнать, что и как. Но при этом, повторяю, они были нормальные парни, тоже не монахи какие-нибудь, но они были мужики!

Меня прикрепили к Феде. Федя был моим мастером. У Феде были золотые руки, Федя мог сделать все что угодно из всего чего угодно, но у Феде была «слабость»! Нет, на работе он не пил, но часто по лицу его было видно, что «вчера жизнь удалась»!

Сам электроцех находился на территории «Б», но наша с Федей мастерская, такая маленькая комнатка, располагалась на территории «А», на четвертом этаже, по-моему, в восьмом корпусе. Не помню. Но это неважно. В мастерской был верстак с тисками и дрелью, полный наборов всяких инструментов и приспособлений, телефон, но главное, там был диван! Старый потертый кожаный диван!

На двери мастерской был круг со стрелкой. Круг был разделен на сектора с надписями: «Цех 2», «Сборочный цех», «Столовая», «Гальваника»... Секторов было штук двадцать. Если куда-то вызывали, то надо было повернуть стрелку на нужный сектор, и все знали, где тебя искать!

Я иногда на программе стою возле барабана и вспоминаю тот диск со стрелкой.

Поскольку электрики были нужны везде, у меня был пропуск «проход всюду» со всеми печатями. Я страшно гордился этим своим пропуском и гордо предъявлял его охране во всех закоулках завода!

Когда не было вызова, я мотался по производственным цехам просто из любопытства. А там было на что посмотреть.

Был цех раскройки, где буквально кроили фюзеляж! На огромно полу ползали по металлическим частям люди и, как в ателье, раскраивали обшивку. Я забирался на кран и мог смотреть на это сверху, пока не позовут.

Из «сборки» я мог вообще не выходить часами! Я видел, как на моих глазах рождалась огромная машина, вокруг которой как муравьи копошились сотни человек!

Машину, кстати, собирали в трех экземплярах. Один потом «рвали» на части в ЛИК, замеряя прочностные характеристики, один уходил в ЛИИ на летные испытания, а третий – третий делали в дереве. Полностью. Со всеми деталями, с приборной панелью, в натуральную величину! Потрясающее зрелище!

Я пришел на завод, когда на стапеле собирали ТУ-134. «Иголку». Говорят, любимую машину Туполева.

Его самого я видел! Три раза в жизни я видел Андрея Николаевича Туполева! Один раз в коридоре, один раз в цеху и один раз в столовой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.